

Материалы

КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ

Вечер у Горького (26 октября 1932 года)*

Я был приглашен через «Историю фабрик и заводов» Ермилова, а еще звонил мне Максим. Я не знал о цели собрания.

У дверей во дворе дома на Малой Никитской писателей встречали Максим Пешков и Котенков — помощник Крючкова. Это несколько настроило нас на необычное. Котенков был человеком из рабоче-крестьянской среды, который понравился Алексею Максимовичу. Он был начинающим писателем. Потом, когда Крючков был арестован и расстрелян, Котенков покушался на самоубийство. Его спасла Надежда Алексеевна (он вскрыл себе вены). Потом он уехал к себе в деревню и года два тому назад умер.

Итак, в прихожей у Котенкова лежал список приглашенных, отпечатанный на машинке. К нему чернилами и карандашом было приписано фамилий четыре-пять. Список этот составлялся Авербахом и Ермиловым. Туда не попали некоторые писатели, выступлений которых они опасались, например, Сейфуллина. Но так как список потом пошел, как у нас говорят, «на самый верх», то туда были вставлены другие фамилии беспартийных писателей.

Столовая была закрыта. В кабинете Крючкова, в проходах, возле лестницы, в вестибюле я застал уже много народу. Собрание, на которое меня пригласил Ермилов — по телефону из редакции «Истории фабрик и заводов», — назначено было в семь часов. Но я пришел позже примерно на полчаса. На диванах сидели и разглядывали большой во весь рост портрет Горького работы молодого художника (тогда Корин еще был молодым художником, теперь портрет этот всем известен). Были там Всеволод Иванов, Катаев, Леонов, Сейфуллина, Авербах, Макарьев, Афиногенов, Никитин, Павленко, Маршак, Юрий Герман, Кац (такой московский поэт), Разин

* Впервые: Минувшее. М.; СПб., 1992. Вып. 10. С. 92–113. Публикация Е. Прицкера.

(сотрудник «Известий»), Гронский, Субоцкий, Габрилович, Герасимова, Либединский, Ермилов, Огнев, Бахметьев, Ильенков, Малышкин, Чумандрин, Колосов, Шолохов, Луговской, Багрицкий; Сурков, Зазубрин, Накоряков (тогда он был директор Госиздата), Цыпин (директор издательства «Советская литература»), Никулин, Березовский, Гладков. Горький еще не выходил. Было ожидание чего-то. На что звали — толком никто не знал. Да я и не спрашивал. Павленко сказал мне: «Повторение пройденного», — намекая на собрание коммунистов-писателей 19 октября, т. е. за неделю до этого, где были Сталин, Молотов, Ворошилов, Бухарин и Постышев*.

Я Горькому послал как-то недавно письмо о Ларцеве (у меня была такая небольшая документальная повесть «Семейная хроника Ларцева», которую я записал со слов этого шестнадцатилетнего старика — он замечательно рассказывал сказки, это была редкая находка, потому что он был из Рязанской губернии, где сказочников было мало). И вот я написал письмо, Алексей Максимович переслал его профессору Соколову Юрию Матвеевичу с предложением обратить внимание на старикана, так чудесно рассказывающего сказки.

Горький выходит из кабинета, здороваясь в вестибюле. Покашливает, но выглядит крепко. Смотрит и встречает всех довольно холодно, чуть натянуто. Впрочем, за этой легкой чопорностью, нервной и неровной, кроется смущение — неловкость быть в большом обществе. Всюду стоят кучки людей. Страшно накурено. Горький идет к лестнице, где его задерживает Леонов. Здороваясь со мной, о письме к нему — Горький ни слова. Любовь Горького к рапповцам очевидна, бросается в глаза. Авербах у Горького как дома. Его нервный раскатистый смех звенит: три километра (за три комнаты). Он ближайший друг Крючкова. Горький пестует рапповцев и встречает их почти влюбленно, с улыбкой, как добрый хозяин, подшучивает, как подшучивают над ребенком, зная все его игры и привычки.

Выходит розовощекий Киришон. Горький поджимает ножку и подмигивает ему.

— Здравствуйте, Алексей Максимович.

— Здравствуйте, здравствуйте, — так сказать «вприпрыжку» отвечает Киришону.

Прибывает в вестибюль запоздавший Кольцов. Длится ожидание. Приходит Кирпотин. Горький, присев на приступочку в вестибюле, беседует с Чумандриным. Перед ним на корточках сидит Кольцов. Я иду с Максимом Пешковым в библиотеку. Он рассказывает мне о краже у него фотографий, в частности о пропаже той, где я был снят с Алексеем Максимовичем в компании с Крючковым, Кавери-

* Автор ошибается. Речь идет о встрече Сталина и членов Политбюро с писателями-коммунистами, состоявшейся 20 октября 1932 года.

ным, Гордеенко, Ильиным (эти люди были почти что все репрессированы). В библиотеку проходят Габрилович и Колосов. Мы беседуем. В это время мы замечаем, что мимо дверей в вестибюль проходит группа: я мельком вижу в отдалении шинели Сталина, Ворошилова. В вестибюле прибывших встречает Горький. Раздевшись, Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов и Постышев проходят в личный кабинет Алексея Максимовича. Девять часов вечера. Напряженное ожидание как будто переходит в волнение. Крючков открывает двери в столовую.

— Товарищи, проходите, пожалуйста. Занимайте места.

Мы усаживаемся, гремя стульями. Столы пусты, покрыты белыми скатертями. Двери снова закрываются. Нас около пятидесяти человек. За дверями стоит охрана, довольно многочисленная. Позже, когда Павленко, выпив, хотел выйти и подышать во двор, ему сказали: «Пожалуйста, уходите, но обратно мы вас не пустим».

Я оказываюсь за маленьким столом, во главе его. Справа от меня — Бахметьев, Гладков, слева — Цыпин. Потом двери открываются снова, и входят Сталин, потом за ним Горький, Каганович, Ворошилов, Молотов, Постышев. В дверях остаются Крючков и Максим Пешков. Молчание. Напряженное ожидание. Вошедшие усаживаются посередине стола на ближайших к двери местах. Писатели, занявшие было эти места, пересаживаются на край. Стены белые, лампы яркие, воздух чист — здесь не накурено. Курить запрещено. Тяжкие, тяжелые, темно-зеленые драпри плотно закрывают огромные окна бывшего особняка Рябушинского. Обращает на себя внимание утомленный вид Молотова. В его лице ни кровинки. Да и у всех на лицах печать усталости и напряженной работы. Горький рядом выглядит отлично, не говоря уже о Леонове. Только Ворошилов, несмотря на седые виски, блещет здоровьем.

Сталин садится, немного наклонившись грудью к столу, из-под бровей он быстро, внимательно и колюче оглядывает всех присутствующих.

— Ну что, надо бы избрать кого-нибудь председателем, — говорит, вставая, Горький. Говорит глухо, про себя, в усы, как всегда, когда он немного волнуется. (Голоса: Алексей Максимыча! Алексей Максимыча!). Горький вынимает исписанные листки из пиджака. — Ну, ладно. Сегодня, мы собрались, чтобы обсудить вопросы литературы. Скоро исполняется пятнадцать лет советской власти, Октябрьская годовщина. Трудрами рабочих и крестьян создано в нашей стране громадное количество дел. Меняется даже география страны, товарищи. Вот, Беломорский канал — это уже изменение географии. Да. Литераторы тоже понаписали немало книг. Есть у них и хорошие, но много и плохих. Литература не справляется с тем, что

бы отобразить содеянное. Многое и от неумения было, и от управления литературными делами. Была глупость, были грубые методы воспитания. Группа людей, больше всех повинная в этом, — я подразумеваю РАПП, — признала свою вину и свои ошибки. Теперь надо подумать, чтобы как-то вместе создавать эту советскую литературу, литературу, достойную великого пятидесятилетия.

Горький говорит медленно, перебирает листочки. Надевает и поправляет очки. Потом опять снимает их.

— Ну, кто желает высказаться?

Встает Гронский, председатель Оргкомитета. Он говорит о работе Оргкомитета, о материальной базе писателей, наконец, о том, что «мы решили предложить пленуму Оргкомитета 29 октября ввести товарища Субоцкого и трех рапповцев, бывших рапповцев, а именно, товарища Авербаха, товарища Ермилова и товарища Макарьева».

Горький:

— Ну, кто еще желает?

Говорит Авербах. Говорит, как всегда, резким отчетливым голосом, гладкими, быстрыми формулами:

— Признанием за РАППом ошибки, которые исправили партия и ЦК, мы начали поворот, свершившийся среди литературной интеллигенции...

Говорит смело, не стесняясь по форме, но по интонации скромно, ищуще по существу. Внимательный человек сразу бы заметил, что настроение тех, кто составляли главный интерес собрания, явно не в пользу рапповцев и даже вообще «завов» от литературы. Сталин во время речи Гронского отпускает иронические замечания, поправляет его, причем вполголоса. Гронский ошибся, сказав, что пленум Оргкомитета собирается накануне Октябрьской революции.

— Годовщины, — поправляет Сталин, — годовщины Октябрьской революции.

Ворошилов, перебивая Авербаха, говорит:

— Почему вы все время по-прежнему себя рапповцами называете?

Во время речи Авербаха Сталин молчит, скучающе опустив голову. Он ждет нового, это мы уже слышали, это уже неинтересно. Напротив, Горький заботливо оглядывает своих питомцев, — как ведут они себя в этой ответственной встрече?

— Ну, теперь желательно, чтобы высказались товарищи беспартийные, — говорит Горький.

— Дайте, я скажу, Алексей Максимыч, — говорит Сейфуллина, — я сию как раз напротив Вас, дайте я скажу. Я, товарищи, в отчаянии от того, что вы хотите снова ввести в состав Оргкомитета трех рапповцев. Я в отчаянии, потому что едва только мы успели

вздохнуть, едва успели приняться за работу... — в комнате движение и шум. — Ну, кажется, Вы же, Алексей Максимыч, ругали Оргкомитет, говорили, что он работает плохо...

Горький:

— Я, действительно, товарищ Сейфуллина, говорил об Оргкомитете, но я говорил, что он не плохое дело делает, а делает не то, так сказать, занят не тем. Но, простите, я Вас перебил.

(Надо сказать, что предложение о введении рапповцев в Оргкомитет — это была инициатива Горького, и он уговорил Сталина на это дело.)

— Ничего... Но просто учтите, что мы, наконец, вздохнули и снова получили возможность писать. Ведь у нас некоторых писателей до того довели, что они слепнут. Вот Тынянов, неплохой писатель, хороший писатель — его до того затравили, что он даже начал слепнуть. (Шум, голоса: «Неправда!» Катаев пытается встать: «Сейфуллина, зачем Вы говорите неправду?») Сейфуллина продолжает говорить, Сталин поддерживает ее:

— Ничего, пусть говорит.

Сейфуллина:

— Мое время уже истекло?

Сталин:

— Мы попросим продлить. — Поднимает руку.

Сейфуллина:

— Ну, если Вы, товарищ Сталин, скажете продлить, то они, конечно, продлят. Так вот, введение рапповцев в Оргкомитет опять охладит всех писателей. (Голоса: «Ну, почему всех? Говорите от себя!») Ну, хорошо, не всех, я буду говорить только за себя. Я вот так думаю.

Сталин:

— Я уверен, что и другие тоже так думают, только не говорят, а сочувствуют. — Сам делает рукой такое волнистое движение по залу.

— Я, товарищи, не боюсь говорить от своего имени. — Сейфуллина отвечает на реплику Березовского. — Да, я вот такая контрреволюционерка. Не верю я тому, что обещает Авербах. Могут ли не верить?

Горький встает и проходит на угол стола (стол был буквой «Г»), где сидели Всеволод Иванов, Киршон, Афиногенов, Катаев. Что-то им шепчет на ухо. Слово тогда просят одновременно Катаев и Всеволод Иванов. Говорит последний:

— Меня вот очень огорчила товарищ Лидия Николаевна Сейфуллина. Огорчила тем, что все свела к введению в Оргкомитет рапповцев. Я не вижу в этом ничего плохого. РАПП и раньше, несмотря на свои ошибки, принес нам всем много пользы. Вот меня, напри-

мер, РАПП бил два года. И ничего худого из этого не вышло. Я человек крепкий, меня этим не проймешь.

Сталин, смеясь, обращается через стол к Иванову:

— Иванов все на себя подымает. Иванов не слышит.

Ворошилов:

— Цену себе набивает, слышите? Хочешь, чтобы тебя еще два года били?

Каганович:

— Ну, зачем, он же не набивается.

Переговариваясь, смеются.

Натянутость, бывшая в начале собрания, давно рассеялась. Встают, выходят курить, переговариваются между собой. Сталин всячески хочет устранить помеху первого знакомства и придать собранию тон простоты и близости. Он подвижен, часто смеется, переговаривается с соседями — Ворошиловым и Кольцовым. Иногда он прыскает под стол смехом. Каганович, напротив, спокоен и внимателен. Он поворачивается в сторону каждого говорящего и смотрит ему прямо в глаза. Молотов и Постышев, видимо, утомлены. А Ворошилов все время острит. Часто невпопад. Говорит потом Катаев, полемизирует с Сейфуллиной. Говорит Огнев. Выступление Огнева (это Михаил Григорьевич Огнев — детский писатель, автор «Дневника Кости Рябцева») оставило у меня впечатление нервическое, какой-то даже истошности. Он говорил, что верит в то, что революция всегда и все победит. Он сказал это таким приподнятым голосом, как бы заглушая в себе нечто, что надо победить. Он говорил о подпольных группах в советских школах, о жажде романтики, об игре в мексиканку (теперь это называется американкой) — когда выигравший может потребовать у проигравшего чего угодно. «Представьте, если мальчик-подросток выиграет такое у девочки. Что может получиться?..» Особенно неловкое, даже я бы сказал странное, впечатление произвела на меня речь Зазубрина. Он сидел ко мне широкой спиной за соседним столом — лицом к лицу со Сталиным.

— Есть еще одна группа, — сказал Зазубрин. — Вот групповщина, о которой у нас говорят, но которая уже мешает развитию литературы. Эта групповщина — цензура. Вот, например, один мой товарищ захотел описать Сталина. Что же он заметил в Сталине, мой товарищ, которого не пропустила цензура? Он заметил, прежде всего, простоту речи, поведения, рябины на лице, — словом, ничего величественного, никакого рефлекса на величие. А вот когда академик Павлов сидел в Риме на конгрессе рядом с Муссолини, он сказал о его подбородке: «Вот условный рефлекс на величие»^{*}.

^{*} Имеется в виду участие И. П. Павлова, А. П. Палладина, Х. С. Коштыянца в работе XIV Международного конгресса физиологов, проходившего в кон-

Затем пошло сравнение Сталина с Муссолини и предостережения тем, кто хочет рисовать Сталина, как и других членов Политбюро, точно членов царской фамилии — с приподнятыми, подбитыми ватой плечами.

Сталин сидел, насупившись. Чувство величайшей неловкости сковало нас всех. У меня было такое ощущение, точно я вдруг попал в женскую баню: не знаю, хоть в землю провались.

— Вот черт, позови вашего брата, — сказал мне шепотом Герман, — ну, какой он бред несет!..

Но скоро эта бестактная игра на мнении о Сталине в его присутствии прекратилась. Забурин кончил так же неожиданно, как и начал.

После говорил Накоряков и предъявил цифру уменьшения втрое листажа на художественную литературу. Сталин несколько раз переспрашивал Накорякова об этой цифре. А цифра такая, что в тридцатом году издавалось оттисков триста миллионов книг, а в тридцать втором — сто миллионов, в три раза меньше. Сталин отметил это в книжечке.

Наконец, запыхавшись, врывается опоздавший Фадеев, который, как потом мне он говорил, был на каком-то рабочем заседании.

Говорит Леонов. У меня осталось впечатление чего-то неопределенного. Сталин подал ему какую-то реплику, Леонов не возражал против введения трех рапповцев в Оргкомитет, но потом вдруг напал на очерки. Тут Никулин дал реплику: «Ну почему же? Не все же плохо пишут. А Лапин, Габрилович? Хорошие очерки!» Говорил Леонов с том, что трудно быть ответственным писателем, что нужна информация о жизни страны. Речь шла о всяких осведомительных сводках, которые получают члены Политбюро. «Я не обижусь на вас, — сказал Леонов, — если я, допустим, не попаду в этот список, но какой-то группе писателей, очень ограниченной, надо эту информацию дать».

Неплохо прозвучало выступление Никулина. Он начал с того, что его давит чувство ответственности — занять мелкими литературными делами внимание и время людей, занятых судьбой стопятидесятимиллионного народа. Но в этой интонации было желание понравиться.

— РАПП закончил свою роль, — продолжал Никулин, — эта роль была положительной, но в последнее время монополистское положение РАППа, его «быть посему» делало страшное дело в ли-

це августа 1932 года в Риме. Конгресс открыв Б. Муссолини в амфитеатре древнего порта Остия, раскопки которого велись в тот период. Вождь приветствовал ученых на итальянском языке, который не был языком ученого собрания. И. П. Павлова подобное нарушение правил возмутило.

тературе. Особенно «быть посему». Я помню, как после ликвидации РАППа я сказал Авербаху: «Вы даже сами не подозревали, какое значение имело, если Вы, допустим, говорили, что этот человек совершил идеологическую ошибку. Его же выгоняли с квартиры и выключали свет».

Авербах:

— Но я-то в этом не был виноват!

— Вы — нет, но положение такое создавалось, когда у человека выключали электричество. Так вот, такого положения теперь нет и не может быть. Теперь мы можем защищаться, можем отвечать. Меня, например, уже после постановления ЦК обложили в «На лит[ературном] посту» за вещь, которую я писал с кровью сердца, в которую вложил все, что заработал жизнью. Я не обиделся. Меня даже не испугало — потом; что исчезло «быть посему». Но самое важное для нас, писателей, не сидеть только за письменным столом, не возвращаться в замкнутой литературной среде. Надо больше ездить, надо больше видеть, что делается в стране.

Сталин, который во время речи Никулина выходил в соседнюю комнату покурить, пососать свою легендарную трубку, сказал громко, стоя в дверях: «Правильно».

Горячо и громогласно говорил Никифоров. Он говорил на свою излюбленную и знакомую для участников литературных собраний тему: о том, что важно не только что писать, но вот — как писать. Самое смешное было то, что об этом говорил плохой писатель.

— А то колхозы, колхозы, стройки да стройки... Вот пусть нам критика скажет, что же хорошо написано...

Принималось большинством одобрительно. Сталин сочувственно кивал головой. А заключительная фраза Никифорова весело расположила всех своей лаконичностью:

— Если ЦК нас не выдаст, Авербах нас не съест.

Кольцов поддержал в своей речи Сейфуллину:

— Напрасно здесь так все сразу напали на Сейфуллину. Если здесь она не нашла прямых сторонников, то число писателей, собравшихся здесь, не составляет и малой доли всех писателей. За стенами этого дома есть многие, кто явно и тайно будут разделять опасения Сейфуллиной. Я могу здесь говорить совершенно объективно: я — писатель-коммунист. Я не рапповец. Меня никто не прорабатывает и я никого не прорабатывал. Вот, Всеволод Иванов, один из крупнейших наших писателей, приветствовал решение ЦК от 23 апреля, которое он назвал историческим, а решения этого не понял, потому что предложил создать какой-то экспериментальный журнал, где писатели будут работать над прозой отдельно про себя, тиражом в сто или триста экземпляров. Почему это экспериментирование

не перенести в массы? Почему нельзя такой журнал издавать для всех? Что касается лит. кружков, о которых здесь говорил Гронский, то я думаю, что Оргкомитет опять повторит ошибку РАППа, если будет воспитывать молодняк в своей системе. Надо кружки прикрепить к производственным единицам и к редакциям газет и журналов. Наш небольшой опыт работы при редакции «Огонька» говорит в пользу этого.

Березовский развил мысль Никулина, что теперь можно будет отвечать рапповцам, что будет борьба, что при условии уничтожения рапповской монополии введение рапповцев в Оргкомитет не страшно.

— Что же касается Оргкомитета, Алексей Максимович...

Горький (он говорит тихо, но очень внятно):

— Опять повторю, товарищи, что возражаю не против работы Оргкомитета, а что он делает не то дело.

Гронский:

— Весь Оргкомитет состоял только из президиума.

Горький:

— А ты, Березовский, разве не был в Оргкомитете?

Березовский:

— Ну, президиум, президиум. В президиум входили Гронский да ты, Кирпотин, — вот и весь Оргкомитет.

— Да ты подожди, Иван Михалыч, я собираюсь защищать Оргкомитет, вовсе он уж не так плохо работал, как говорят, он сделал вовсе не мало... лит. кружки мы организовали. После РАППа Оргкомитет принял кружки в совершенно развалившемся состоянии.

Киршон:

— Зачем неправду говоришь?

— Нет, правда.

— Нет, неправда.

— Я ведь это документально могу доказать. Мы должны поставить дело по-новому. Кольцов предлагает кружки прикрепить к редакциям. Что ж, это неплохо...

Выступает Маршак. Убедительно, хорошо говорит о детской литературе. Ворошилов подает ему сочувственные реплики.

Собрание как будто уже несколько утомлено. Речи да речи. Встают, ходят взад-вперед, курят, шумят, а часть зала уже вообще в кулуарах.

Сталин говорит:

— Вина бы надо.

Горький:

— Это можно, сейчас мы устроим передых.

Слова просит Макарьев. Я посылаю Горькому записку: «А. М. Я хотел бы сказать о критике и организации критических кадров.

Дайте слово, если есть время. К. Зелинский». Макарьев говорит несколько вяло, говорит об ошибках бывшего рапповского руководства, говорит о новой творческой обстановке, о том, что в новой обстановке невозможно повторение рапповских загибов... Сталин в это время уходит курить. Горький выражает безутешное нетерпение: ведь говорят-то свои, а он поддерживает... неловко за них...

— Ну а сейчас мы сделаем перерыв. Вам слово, товарищ Зелинский, я предоставлю первому после перерыва.

Двери столовой снова закрыты. Мы в кабинете Крючкова. Вокруг Сталина, Молотова, Кагановича, Горького, Ворошилова толпятся писатели. Естественно, главный интерес вокруг Сталина. Его обступили плотным кольцом. Ближе всех стоят Леонов, Гронский, Субоцкий. Говорят о материальной базе. Леонов рассказывает, с каким трудом они получали дачи.

— Некуда, товарищ Сталин, поехать отдохнуть, а чтоб зимой можно было вырваться...

Сталин делает вид, что не замечает.

Леонов опять:

— Вот дачи бы, надо бы построить.

Сталин отвечает:

— Плохо, значит, искали. Зачем вам дачи? Вот дача Каменева и Зиновьева освободилась, можете занять...

Леонов, кажется, не понял этой зловещей шутки и даже стал спрашивать, как это технически и организационно оформить. Сейфуллина входит в расступающееся кольцо.

— Товарищ Сталин. А вы будете говорить? Мы бы хотели вас послушать.

Сталин:

— Да, собираюсь поговорить.

Луговской проходит под лампой, читает по просьбе Горького стихотворение молодого рабочего Кедрина «Куклы». Все замолкают минут на пять. Молотов скучает. Прослушали молча, одобрили, тоже молча.

Я ни с кем из членов Политбюро лично не знаком, потому не считаю для себя возможным влезать в разговор. Я приглядываюсь главным образом, слушаю. Интересно мне наблюдать поведение людей вокруг Сталина и самого Сталина. Меня немного беспокоит и тяготит это атакывание писателей. Ну, неловко. Ведь, как показал опыт, он не защищен от зазубриниады. И вот, держа трубку в зубах, прямо всем телом, не изменяя поворота головы, посасывая свою трубку, Сталин начинает двигаться, точно дредноут. Он отчаливает от пристани, толпа неожиданно расступается. А у дверей его снова задерживают.

Никулин:

— Расскажите, товарищ Сталин, о ваших впечатлениях от разговора с Эмилем Людвигом.

— Недалекий человек.

— А что Вы скажете о Бернарде Шоу?

— О, тут дело было значительно сложнее*.

Я первый раз вижу Сталина в такой близкой бытовой обстановке. Потом-то мне приходилось его встречать. Трудно развиваться фантазии на этом плацдарме простоты. И вместе с тем это человек с отчетливым обликом, очень, так сказать, характерный, как принято выражаться. Сталин — человек среднего роста, не очень плотный и отнюдь не военно-монументальный, как его изображают на гипсовых бюстах. Павленко мне как-то рассказывал о своих впечатлениях о Сталине на знаменитом заседании Политбюро 23 апреля, где принято было решение. Павленко говорил мне, что его поразила тогда у Сталина бледность лица, начинающий просвечивать затылок, — словом, большая мягкость, сглаженность черт лица — от жизни в комнатах, заседаний, книг, газет, бумаг, — безвольных как бы. У меня в этот вечер не осталось такого впечатления от Сталина. Нет, это еще вполне крепкий человек, почти без седины, волосы, чуть начинающие сереть, но еще черные и густые. Манера одеваться Сталина общеизвестна по портретам и фотографиям: это френч темного хаки, тонкой, очень хорошей материи. Когда Сталин говорит, он часто играет перламутровым перочинным ножичком, висящим на часовой цепочке под френчем. Особенностью лица Сталина, придающей ему некоторую жесткость, являются идущие косо наверх брови. Они кустятся и торчат под висками острыми волосиками. Когда Сталин смеется, а делает это он довольно часто, быстро жмурясь и нагибаясь, брови и усы бегут врозь и вверх, и в нем появляется нечто хитрое, я бы сказал, кошачье. Сталин, что никак не дано в его изображениях, очень подвижен. И вот тут начинаешь иначе понимать его простоту, о которой столько на сказано и написано. Все у него в пригонку к существу дела. Это не имеет ничего общего с той простотой, что хуже воровства. Эта простота того же порядка, что породила понятие классичности. Она — форма разрешения сложности, ее высшая ступень. За этой простотой, как за гладкой поверхно-

* 29 июля 1931 года Сталин принимал Б. Шоу в своем кремлевском кабинете. Из письма К. Радека И. В. Сталину 9 ноября 1934 года: «Только что получен номер “Нью стейтсмен” со статьями Шоу и Толлера по поводу выступления Уэльса. Шоу местами очень удачно высмеивает Уэльса, а дальше величает Вас как оппортуниста и националиста. Думаю, что первую часть статьи Шоу можно было бы пустить в печать. Завтра вечером получите перевод этой статьи». Пометок Сталина или иных указаний на машинописном переводе статьи нет. (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 792. Л. 121.)

стью стальной брони, огромная внутренняя заряженность. Сталин поражает своей боевой снаряженностью. Чуть что — он тотчас ловит мысль, могущую оспорить или пресечь его мысль, и парирует ее. Он очень чуток к возражениям и вообще страшно внимателен к тому, что говорится вокруг него. Кажется, не слушает или забыл. Нет, он все поймал на станции своего мозга, работающей на всех волнах. И ответ уже готов — в лоб, напрямик: да или нет. Сталин всегда готов к бою. Вот впечатление.

Позже, во время одного из высказываний на банкете, когда Сталин говорил о важности производства душ в сравнении с остальным производством — машин, авиации, танков, — Ворошилов подал реплику: «Как когда». Все зааплодировали — реплика показалась удачной. В ней прозвучало напоминание о войне. Сталин не прошел мимо.

Как так? Его мысль, оказывается, была не прямо в точку, а приблизительно? Она не может быть поправлена.

— Нет, товарищ Ворошилов, — сказал Сталин, стоя, поворачиваясь к нему. — Ничего ваши танки не будут стоять, если души у них будут гнилыми. Нет, производство душ важнее вашего производства танков.

Мы замолкли, подчиняясь логике Сталина. Мы почувствовали непреклонность человека, знающего до конца, что он хочет.

В перерыве я разговаривал с Горьким опять о Ларцеве. Я хотел, чтобы его вызвали в Москву и записали его сказки. Это потом было сделано.

Двери столовой снова открываются.

— Товарищи, проходите, проходите, — глуховатым баском зовет нас Горький.

Ему трудно на ролях хлебосола и хозяина большого стола, видимо, он страшно стесняется. Горький берет меня за плечи, — я оказался ближе всех ко входу, — и прямо вталкивает в столовую. Белые столы изменились в лице. Они полны обычной банкетной снеди, вин, закусок... Рассаживаются в прежнем порядке. Против Сталина оказываются Леонов, Никифоров, Фадеев, Субоцкий. Звенят вилки, ножи, шум, все разговаривают друг с другом. Сталин тоже пьет наравне со всеми и подливает соседям. Пьет коньяк. Он сидит теперь между Ворошиловым и Горьким. Я не слышу их разговоров. Так проходит минут двадцать. Но вот период первоначального насыщения закончен. Начинается хождение. Двери открыты, в глубине стоит охрана. Просят говорить Шолохова. Он отнекивается, прячется за спины других. Проходит мимо стульев, но садится, слушает. Горький говорит:

— Слово предоставляется товарищу Зелинскому.

Я встаю. Сталин наклоняется к Горькому, Ворошилов к Сталину, то же Молотов и Каганович: я маленький, они хотят узнать, кто же

это говорит. Свою речь я, естественно, запомнил полнее, поэтому изложу ее длиннее, нежели изложение речей других моих товарищей, от которых я старался сохранить только общее впечатление.

— Мне приходится начинать второй тур, так сказать, на расширенной базе. Она хороша, но не решает дела. Я буду говорить о критике. Вот в чем существо вопроса. Без организации настоящей коммунистической критики нельзя создать новой обстановки в будущем Союзе советских писателей. Критика у нас явно отстала от художественной литературы. Ведь это же факт, товарищи, что постановление ЦК вызвало подъем у художников слова и беллетристов, хотя тут Катаев говорил, что РАПП был не причем и люди писали раньше так же, как сегодня. Нет, сегодня пишут все-таки охотнее. А критики кинулись в кусты, критики замолкли.

Все стучали ножами и вилками и никто меня не слушал. Но Сталин вдруг сказал громко:

— Ловко, Зелинский.

— А как же можно вести дельно воспитательную работу среди писателей, если не организуем критики, если не организуем критические кадры?

— Ловко, ловко.

Тогда все перестали есть и стали меня слушать: что это за самородок Зелинский, почему Сталин ему реплику такую подает?..

Авербах:

— Это Вы, товарищ Зелинский, мне мысль подсказали...

Все зашумели.

Зелинский:

— Я знаю свою мысль, дайте я доскажу.

Ворошилов:

— Говорите, а то через пять минут никто не то, что слышать, — двух слов связать не сможет.

— Так вот, без новой критики нам не создать новой обстановки в литературе. А в каком положении находится наша критика? Критика находится на второсортном положении по сравнению с художественной литературой. Вся система материально-правовых норм всегда целит, да и сами издательские порядки таковы, чтобы поддерживать критику на низком уровне, все стимулирует наименее трудоемкие виды критических работ. Такова система. Наконец, наше руководство, наша общественность, несмотря на то, что все только и делают, что ругают критику, ничего не делают для ее подъема, для того чтобы упразднить обезличку, организовать критические кадры. Оргкомитет тоже повинен тут. Вот недавно было собрание критиков, организованное Оргкомитетом. Делал доклад Кирпотин. Собрание было организовано плохо и ничего не дало для указанной задачи.

Но больше того. Наша «Литературная газета», которая наш орган, посвящает целые полосы еще не напечатанным даже произведениям беллетристов, но не дала ни одной заметочки об этом собрании. Как же воспитывать критику, если ничего о ней не писать?

Голос:

— А почему тут именно виновата «Литературная газета»?

— А кто же является выразителем нашей литературной общественности? Кто ж тогда должен писать о критиках, если не «Литературная газета»? Можем ли мы теперь терпеть такое положение? Раньше говорили так, что неудавшийся писатель становится критиком.

Сталин:

— А теперь как?

— А теперь бывает так, что битый критик становится плохим писателем. Имена их всем известны, и я не хочу их здесь называть. Но мы не заинтересованы ни в том, ни в другом. Нам нужна настоящая, коммунистическая критика. Может быть, я тут скажу ересь, но, по-моему, это будет правильно: быть политиком это еще не значит быть хорошим литературным критиком, понимать в политике это еще не значит все понимать в литературе, хотя не может быть литературы без политики.

Сталин:

— Ловко, правильно.

Зелинский:

— Надо разговаривать с художником на языке искусства, на языке, который был бы близок и понятен ему. Вот в чем задача литературной критики.

Леонов:

— Это верно.

— Вот почему я думаю, что, создавая новый союз писателей, мы главное внимание должны обратить на организацию коммунистической критики, на воспитание критических кадров. Без этого нельзя серьезно говорить о новой атмосфере в союзе писателей.

Я сажусь, несколько оглушенный чувством страха, что решился выступить. Я вообще почти никогда не выступаю в столь ответственном обществе. Сознание этой смелости пришло, кстати, постфактум, иначе никакие силы не заставили бы меня вообще связать два слова, но мои соседи по столу поздравляют меня с удачным, по их мнению, выступлением.

— Чего Вам еще надо? Вас же поддержал Сталин...

После меня снова говорит Кольцов. Он говорит опять о лит[ературных] кружках, где им быть — при редакциях или в системе Оргкомитета.

— Пусть Луговской прочтет свои новые стихи! — кричит Авербах. — Алексей Максимыч, скажите, чтоб он прочел.

Горький что-то говорит. В комнате очень шумно. Никифоров что-то пишет Сталину на клочках бумаги. Сталин отвечает. Луговской не заставляет себя долго просить, встает, высокий, в своем крупнозернистом свитере портового рабочего или моряка, играет бровями. Луговской начинает своим блистающим голосом:

— Я прочту поэму «Сапоги». Это из нового цикла стихов, книга называется «Просто жизнь».

Начинают слушать Луговского со вниманием. Он читает вкусно, патетично и громко. Это история, написанная белыми стихами, о том, как во фронтовой обстановке сапоги обнаруживают сущность человека. Сапоги — символ, сапоги — случайная лишь вещь, вскрывающая идею. Луговской читает две, три, пять минут. Читает десять минут. Стихи явно растянуты. Луговской читает двадцать минут, это слишком. Обстановка совсем не такова, чтобы слушать высоко-идеологические стихи. Начинают позванивать стаканы, устает, слабеет внимание. Все ждут выступления Сталина. А Луговской читает и читает, и это, наконец, начинает всех тяготить. Он переиграл, и, закончив, наконец, не получает ни одного аплодисмента. После этого идеологического антракта все облегченно снова принимаются за еду. Настроение идет врозь, ищут, чем бы себя занять. Сталин молчит. Просят читать Багрицкого. Багрицкий быстро при этом стремится удрать в соседнюю комнату. Его ловят и водворяют обратно. Он стоит в синей блузе, в сапогах, сутулый, бледный, задыхаясь от астмы. Волосы падают ему на лоб с опущенной головы. Вот Багрицкий берет первые хриплые ноты. Он читает «Человек из предместья». И с каждой строфой крепнет его голос, напоминающий клекот старого тетерева. Ему аплодируют, аплодирует и Сталин. Багрицкого просят почитать еще, но он сумрачно отругивается с такой силой, так задыхается на стуле, что его оставляют в покое. Фадеев говорит:

— Товарищ Сталин, расскажите нам о Ленине, свои воспоминания. Здесь все писатели, это имело бы для нас большое значение.

Но Сталин отнекивается. На предложение он отвечает новым предложением: он встает, держа бокал с вином в руке.

— Давайте лучше выпьем за Ленина, за великого человека. Давайте выпьем. Ну, кто хочет? За великого человека. За великого человека, — повторяет Сталин несколько раз.

Он тотчас понял, о чем просил Фадеев. Фадеев мне передавал, что Сталин рассказывал замечательно: он рассказывал очень редкие интимные вещи о Ленине и его смерти, которых никто не знает. Но эти вещи Сталин сейчас, в присутствии беспартийных не хочет повторять. Это очень секретный, интимный разговор.

— Ну что же, выпьем за великого человека, — перебивает он слова Фадеева.

Все встают. Кое-кто поспешно наливает в свой стакан, чтоб присоединиться к тосту. Малышкин хочет чокнуться со Сталиным, но стесняется. Он говорит об этом потихоньку Фадееву.

— Товарищ Сталин, писатель Малышкин хочет с Вами лично чокнуться.

Сталин протягивает стакан:

— Ну, что ж, давайте.

Павленко:

— Это же плагиат, товарищ Сталин.

Мы смеемся. Павленко на вечере 19-го от полноты чувств и подогретый вином, поцеловался со Сталиным. Скромный Малышкин встает и чокается.

— Выпьем за здоровье товарища Сталина! — громко возглашает Луговской своим роскошным голосом. Но в то время, когда мы собирались присоединиться к этому тосту, уже встали, Никифоров, сидевший напротив и уже изрядно отдавший дань гостеприимству хозяина и Сталина, который нещадно подливал своим соседям полными стаканами водку и коньяк, Никифоров встал и тоже закричал на весь зал:

— Надоело! Мы уже сто сорок семь тысяч раз пили за здоровье товарища Сталина. Небось, ему это даже надоело слышать.

Сталин тоже поднимается. Он протягивает через стол руку Никифорову и пожимает ему пальцы:

— Спасибо, Никифоров, правильно. Надоело это уже! — и смотрит на него иронически и недобро.

Володю Луговского постигает вторичная неудача. Писатели собираются петь. Фадеев уговаривает спеть Шолохова, спеть под баян. Шолохов, смущенный, маленький, стоит в темной шерстяной рубашке, подпоясанной казацким ремешком. Шолохов ищет избежать всеобщего внимания и все время прячется. Фадеев запевает один: «Шумел камыш». Ему подтягивают. Горький сидит по-прежнему молчаливо и точно насупившись. Поют. Поют не особенно дружно. У всех ощущение незаконченности, ощущение того, что вечер слишком рано потерял свои очертания и свелся на вечеринку с вождями.

Но вот встает Сталин. Я не помню, предшествовала ли этому новая просьба выступить с чьей-либо стороны. Скорее всего, нет. Потому что Сталин, встав, ищет как бы мотивировки своему выступлению.

— Ну, как, сказать им? — спрашивает он Горького, сидящего рядом.

— Надо говорить.

— Надо. Просим, просим, — раздаются голоса.

— Ну, тогда садитесь. Я буду говорить минут двадцать.

Собрание снова стянуто в один узел. Все замолкают, придвигаются со стульями поближе к Сталину. Кто сидит, кто стоит, расположились как бы полукругом.

— В чем сущность сегодняшнего собрания? Сущность его во взаимоотношениях партийных и беспартийных по этому вопросу.

Сталин начинает говорить очень спокойно, медленно, уверенно, иногда повторяя фразы. Он говорит с легким грузинским акцентом. Он почти не жестикулирует. Сгибая руку в локте, он только слегка поворачивает ладонь ребром то туда, то сюда, как бы направляя поток то в одну сторону, то в другую. Иногда он поворачивается корпусом в сторону подающего реплики. Его рука очень бела и суховата, рука человека, привыкшего перелистывать книги. Его ирония тонка. Сейчас это не тот Сталин, который был в начале вечера, Сталин, прыскающий под стол, ловящий смех и готовый смеяться. Сейчас его улыбка чуть уловима под усами. Его ирония с металлом. В ней нет ничего добродушного. Она прямо летит в цель. Сталин стоит прочно, по-военному. Он говорит как хозяин положения.

— Сначала мы собрали партийных.

Сейфуллина:

— Мы слышали об этом.

Сталин:

— Ничего не поделаешь, товарищ Сейфуллина, привычка у нас, большевиков, такая, обычай такой — сначала собираем партийных и говорим обо всем: чистим друг друга. А уж потом, когда выходим, то с единым мнением, которое каждый обязан защищать. Тут защищай каждый свое, а когда уж постановили, то защищай партийное мнение. Хорошая привычка, правило всей нашей работы. Так и мы, товарищ Сейфуллина, сначала собрались партийные в своей среде, проверили, хорошо ли это мероприятие — введение рапповцев в Оргкомитет, к руководству снова, а теперь мы это вместе с вами обсуждаем, всю вашу работу. Как нас Ильич учил? Он всегда говорил, чтоб проверять работу партийных беспартийными и наоборот — партийные проверяют беспартийных. Чем сильна наша партия? Тем, что она имеет поддержку у широчайших масс беспартийных. Разве мы не знаем, что среди членов партии встречаются мерзавцы и приспособленцы? Мы изгоняем их всячески из нашей среды. Изгоняем часто и на чистках. Время от времени мы чистим нашу партию. Это большое событие в жизни партии. И на чистку мы часто приглашаем беспартийных. Этим, в частности, мы тоже узнаем, как члены партии работают с беспартийными, их влияние в среде беспартийных. Ленин всегда говорил, что гвоздь вопроса в том, чтобы партийные могли повести за собой беспартийных. Потому

что значит человек беспартийный, хотящий работать с нами, работать для победы социализма? Это значит, что у него в голове чего-то не хватает, что что-то он еще недопонимает. Значит, надо ему объяснить. Партийных мало, а беспартийных много, гораздо больше. Что было бы, если бы массы беспартийных рабочих не шли за партией? Значит, надо уметь создавать влияние, вести за собой. Оттолкнуть сочувствующего человека легко, а завоевать его доверие трудно. Отбрасывать людей легко, а привлекать их на свою сторону трудно. За что мы ликвидировали РАПП? Именно за это, именно за то, что РАПП оторвался от беспартийных, что перестал делать дело партии. Они только страх пуцали.

В этих словах Сталин подчеркивает их иронию. Он делает броское движение кисти руки, выбрасывая пальцы врозь, и хитро улыбается под усами.

— А страх пуцать, оно мало, надо доверие пуцать. Вот что. Вот почему мы решили ликвидировать всякую групповщину в литературе. Групповщина создавала нездоровую обстановку, не располагала к доверию. Мы распустили все группы и побили самую большую группу, которая ответственна была за групповщину, — РАПП. Теперь мы от всех партийных литераторов будем требовать проведения этой политики.

Чумандрин, который с детскими пухлыми щеками, с невинным видом стоял перед Сталиным, сказал:

— Что Вы, я не возражаю.

Ворошилов:

— То есть как это — не возражаю? Исполнять надо!

Сталин:

— Не возражать мало. Надо работать.

Чумандрин смущенно краснеет.

— Союз писателей тоже мы как организовали? В центре крепкое ядро коммунистов, — Сталин делает такое круговое движение рукой, — а вокруг него — широкий слой беспартийных. Там, во фракциях деритесь себе сколько угодно, никакого покоя и единодушия у вас, конечно, быть не может. Такое единодушие бывает только на кладбище. Но коммунистическая фракция должна быть единой для беспартийных. Коммунисты должны вести писателей за собой. Вот тут выступала Сейфуллина. Кто виноват, что она не верит Авербаху?* Авербах виноват. РАПП виноват. Сейфуллина не одна. Я знаю, что и другие тоже так думают, только боятся говорить. Про

* Согласно дневнику посещений кабинета Сталина, Л. Авербах встречался с ним 11 декабря 1928 года, 19 ноября 1930 года, 6 декабря 1931 года и 11 мая 1932 года. Примерно этими датами и помечены проекты постановления ЦК по литературным организациям и художественной литературе.

нее сказали, что она трусиха, а вот она сказала всех смелее. Она сказала правду-матку, все, что думала. Мы должны считаться с этими сомнениями. Мы должны считаться с беспартийными писателями. Они беспартийные, значит, чего-то они недопоняли, но они знают жизнь, умеют ее изображать. Они тоже могут делать наше дело. Писателей гораздо больше, чем вы думаете. Сейчас придут тысячи, десятки тысяч новых писателей из молодежи, обучившейся грамоте. В этом наше счастье. В большинстве это будут беспартийные. Надо уметь работать с ними — вот в чем задача вашего будущего союза. В нем должны быть созданы условия для работы каждого советского писателя, стоящего на платформе советской власти и сочувствующего социалистическому строительству. И вот еще, что я хотел вам сказать, еще о двух вещах, всего — о трех. О чем писать? Стихи — хорошо, романы — еще лучше. Но пьесы нам сейчас больше всего нужны. Пьеса доходчивее. Наш рабочий занят. Он восемь часов на заводе, дома у него семья, дети. Где ему сесть за толстый роман? Вот вы, товарищ Панферов, — обращается он к сидящему напротив. — Сколько в ваших «Брусках»? Три тома? Где же рабочему их осилить? Конечно, это не значит, что все должны прекратить писать романы, — он откидывается корпусом назад и улыбается. — Не поймите меня так. Но пьесы сейчас тот вид искусства, который нам важнее всего. Пьесу рабочий легко просмотрит, через пьесы легко сделать наши идеи народными, пустить их в народ. Не случайно, что буржуазный класс в начале своей истории выдвинул самых крупных гениев драматургии: Шекспир, Мольер... Буржуазия тогда была более народна по отношению к феодалам, к дворянам и ко дворам. Ну, а наша республика сейчас более народная республика по сравнению с буржуазией. А пьесы — это сейчас самый массовый вид искусства. Мы должны создавать пьесы. Вот почему — пишите пьесы, только, товарищи, хорошие пьесы, художественные произведения.

— Постараемся.

— Сейчас последний вопрос — о материальной базе будущего союза писателей. Надо сделать все, чтобы обеспечить вашу работу. Вот сначала мы построим литературный институт Вашего имени, Алексей Максимыч*, — Сталин кладет ему на плечо руку. — В этом институте будет воспитываться та молодежь, о которой я говорил, — кадры новые. Вокруг института и место выберем где-нибудь хорошее возле города: надо создать поселок, что ли...

* 7 сентября 1932 года. «Правда» напечатала информацию «40-летие литературной деятельности М. Горького», в которой сообщила, что ЦК ВКП(б), ЦИК и СНК СССР для проведения юбилея создали комиссию; кроме прочего на заседании решено организовать Литературный институт им. А. М. Горького, который был открыт в Москве в декабре 1933 года.

— Писательский городок, — подает кто-то реплику.

Сталин:

— Да, писательский городок. Гостиницу, чтоб в ней жили писатели, столовую, библиотеку большую — все учреждения. Мы дадим на это средства. Библиотеку на миллион томов. Это обойдется недорого. Это все с лихвой окупится. Мы все должны заботиться о будущем союзе. О будущей учебе, об организации поездок писателей за границу для расширения горизонта, — добавил Сталин. — Это все дело Оргкомитета, обо всем он должен позаботиться перед съездом союза писателей. Вот тут Гронский говорил, что союз писателей — это не профессиональный союз. Почему не профсоюз? Почему он не должен заботиться о материальных делах своих членов? Он должен об этом заботиться, это его дело. Союз писателей должен заботиться о всех сторонах жизни своих членов. Ну, вот все, что я вам хотел сказать.

Сталин садится. И сразу взрываются движение и шум с новой силой. Сейчас к этому прибавилось возбуждение речью. Настроение приподнятое: руководитель партии лично изложил писателям основы литературной политики ЦК. Снова звенят стаканы, Сталин щедро подливает, все время подливает соседу.

Я обхожу стол позади Сталина, Горького и показываюсь Кагановичу: я хочу поговорить с ним о Ларцеве.

— Выпьем за здоровье товарища Сталина! — кричат уже несколько голосов.

Все на этот раз дружно поднимаются и пьют за здоровье Сталина. Запевают новую песню.

— Выпьем за самого скромного из писателей, за Мишу Шолохова! — кричит Фадеев.

Сталин снова встает.

— За Шолохова! Да, я забыл еще сказать вам. Я хотел сказать о том, что производите вы.

Сейчас Сталин опять иной. Он говорит застольное слово, говорит как тамада, со стаканом вина. Он оживлен, и вся писательская компания расположилась табором со всех сторон.

— Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы тоже производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар — души людей.

Помню, меня тогда поразило это слово — товар.

— Да, тоже важное производство, очень важное производство — души людей.

Ворошилов тут и подал ему свою реплику. Киршон что-то спрашивает его, но Сталин, кажется, не хочет замечать метафорической остроты своего определения. Он развивает его дальше.

— Все производства страны связаны с вашим производством, и оно невозможно без того, чтобы не знать, как человек входит, как он участвует в производстве социализма. Вот тут кто-то правильно говорил, что писатель не должен сидеть, он должен знать жизнь в стране.

Сталин кивает рукой приблизительно к тому месту, откуда выступал Никулин.

Я подсказываю Сталину:

— Это Никулин говорил.

— Правильно сказал Никулин. Человек перерабатывается в самой жизни. Но и вы помогите переделке его души. Это важное производство — души людей. И вы — инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей и за самого скромного из них — за товарища Шолохова!

Сталин снова садится, и снова поднимается шум. Впрочем, шум теперь уже не утихает окончательно даже во время выступлений Сталина. Все равно все переговариваются, пьют, ходят, курят. Я с Катаевым беседую с Молотовым. Кто-то опять собирается петь.

Киршон, Леонов и другие осаждают вопросами Сталина. Вечер опять теряет свои очертания, как бы течет по нескольким руслам. Я силуюсь не упустить из внимания, что говорит там Сталин. Но это мне не всегда удается. Мешают шум, общее рассеяние, отделенность тремя людьми: Катаевым, Кагановичем, Молотовым. Я сижу сбоку. А Сталин все время готов вести беседу. Он — тамада, он ведет вечер, охотно отвечает на все вопросы. Он даже приветлив, как в своей компании.

— Товарищ Сталин, а как Вы смотрите на роль мировоззрения? — спрашивает, повторяя, Киршон. Сталин начинает отвечать сидя, но тотчас встает, чтобы снова все слышали его.

— Вы говорите диалектический материализм, диалектика... Можно быть хорошим художником и не быть материалистом-диалектиком. Были такие художники, Шекспир, например.

— И Пушкин, — добавляет Никифоров.

Авербах громко:

— Да, но мы же хотим создать социалистическое искусство, товарищ Сталин!

Никулин:

— Смотрите, смотрите на него. Не успели его еще ввести в Оргкомитет, а он кричит. Он кричит уже на Сталина.

Мы хохочем.

Сталин продолжает спокойно, не обращая внимания:

— Мне кажется, если кто-нибудь овладеет, как следует, марксизмом или диалектическим материализмом, он не станет стихи пи-

сать. Он будет хозяйственником. Или в ЦК захочет попасть. Теперь все в ЦК хотят попасть. (Смех.)

— Разве хороший поэт не может быть диалектиком? — спрашивает Луговской Сталина.

— Нет, может, и хорошо, если он будет диалектиком-материалистом. Но я хочу сказать, что, может быть, ему не захочется тогда стихи писать. Я шучу, конечно. Но вы не должны забивать художнику голову тезисами. Художник должен правдиво показать жизнь. А если он правдиво будет показывать нашу жизнь, то в ней он не может не заметить и не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет социалистическое искусство, это и будет социалистический реализм*.

Это маленькое выступление Сталина по вопросам искусства и марксизма явно окрашено в полемические тона против рапповцев и заострено таким образом из педагогических и идейно-воспитательных соображений. Как и многое на этом вечере, в частности резкая поддержка Сейфуллиной. Сталин поправляет рапповские перегибы в нашем писательском сознании резко, подчас насмешливо и с предельной ясностью.

— Вот все вы тут выступаете против старого, — встает снова Сталин. — Почему все старое плохо? Кто это сказал? Вы думаете, что до сих пор все было плохо и все старое надо уничтожить? А новое строить только из нового? Кто вам вдолбил это? Ильич всегда говорил, что мы берем старое и строим из него новое, очищаем старое и берем его для нового, используя его для себя. Мы иногда прикрываемся шелухой старого, чтоб нам теплее было. Будьте смелее, и не спешите все сразу уничтожать.

Горький при этих словах вынимает из пиджака опять свои записки, надевает очки, что-то ищет в них. Потом, найдя нужное место, он сидя читает глуховатым баском знаменитые слова Ленина, сказанные Кларе Цеткин о старом и новом в искусстве.

— Вот-с, наши-то товарищи литераторы, видимо, не читают полезные книги и хотят пролетарское искусство в хутор выделить. Очень правильно сказано: будьте смелее и не спешите все сразу уничтожать.

* В предварительном проекте резолюции ЦК по художественной литературе, представленном Л. Кагановичу в марте 1930 года, этот метод назывался «диалектико-материалистическим»: «задача овладения методом материалистической диалектики должна быть поставлена во главу угла своей творческой работы». Каганович уточнил: «поставлена пролетарскими писателями». В январе 1931 года требование конкретизировано: «метод материалистической диалектики не мирится с пассивно-созерцательным отношением к действительности, он требует от художников уменья найти основные тенденции развития, в сегодняшней действительности видеть ее завтрашний день». (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 232. Л. 216, 225 об.)

Опять запевают песню. Луговской читает и хорошо поет русские присказки и заклинания. А Фадеев запел: «Вышла Дуня за ворота, а за ней солдат рота», видоизменяя куплет таким образом, что у него получается лихой припев: «Вышел Ворошилов за ворота, а за ним солдат рота». Так же он рифмовал и Молотова. Все смеются, подхватывают слова песни.

Сталин сидит, крякнув, на стуле. Выпил три четверти бутылки коньяку. И мы вокруг него сгрудились. Но поздно. Гости собираются уходить. Мы вдвоем с Горьким поднимаемся тоже, идем провожать Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Постышева в переднюю. Она была устроена в вестибюле закрытого входа на Малую Никитскую. Несколько ступенек ведут вниз. Стоит Авербах. Сталин показывает на него рукой:

— Этот человек на меня сердится. — Идут рядом с Горьким. — Ничего, Алексей Максимыч, я его побил по русской поговорке: за битого двух небитых дают.

Горький, высокий, прощается со Сталиным чуть согнувшись, обнимает и неловко целует его по-мужски усы в усы. Глаза у него как-то заблестели, и он даже стыдливо какую-то слезинку смахнул. Горький всегда растроган...

Сталин, Молотов, Ворошилов и другие приятельски прощаются со всеми нами, окружившими их тесной толпой в передней. Сталин, пожимая руку, опять мне все вспоминает свою реплику:

— Ну и ловко Вы вывернулись...

И вот мы одни. Чувствуешь, что поздно, что все утомлены и хочется побыть самому с собою. Алексей Максимыч, Максим Пешков провожают нас. Максим зовет машину. Алексей Максимыч, сразу взгрустнувший, замолчавший, возвращается к себе. Я выхожу во двор. Шипят шины подъезжающих авто. Сыро, холодно, в тумане маячат фонари. Пятый час утра.

Уже дома, на лестнице, я догоняю Багрицкого, с которым мы жили на одной лестнице: я на восьмом, он на шестом этаже. Он висит на перилах, медленно поднимаясь на шестой этаж: одышка.

— Вы знаете что... — начинает Эдуард, но не продолжает. Мы только молча обнялись с ним у двери и расстались*.

* 7 января 1940 года А. А. Фадеев в письме к Поскребышеву просил рассмотреть вопрос о публикации воспоминаний «К. Зелинского о встрече товарища Сталина с писателями у А. М. Горького в 1932 году». Фадеев писал: «Я на этой встрече присутствовал. Высказывания товарища Сталина записаны Зелинским, разумеется, не полно, но правдиво. Все, касающееся литературы, актуально и сейчас. Вот почему я прошу Вас выяснить возможность напечатания этих воспоминаний в «Литературной газете» и во втором издании сборника «Встречи с товарищем Сталиным». Ответа, видимо, не последовало. (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 720. Л. 124).